

Бернгард
Рубен

ЗОЩЕНКО

16+

Бернгард Рубен
Зощенко

«ЛитРес: Самиздат»

2006

Рубен Б. С.

Зощенко / Б. С. Рубен — «ЛитРес: Самиздат», 2006

М.М. Зощенко – один из оригинальных и самобытных писателей советской эпохи, когда в России произошел разрыв времен, разлом истории. В книге Бернгарда Рубена подробно, с привлечением обширного документального материала, прослеживается его творческая и человеческая судьба.

Содержание

1. «Мирное время»	6
2. Офицер-фронтовик	11
3. Межвременье	18
Сокровенный поводырь	24
1. Хождение в народ	24
3. Новый взгляд	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

До Октября

1. «Мирное время»

Всякий раз для свершения высокой судьбы художника должны были совпасть – в единственном своем сочетании – и дарованный ему талант, и родовой исток, и его душа, ум, характер, и внешние пути, обстоятельства его жизни в данном ему времени. И в этом наличии, сочетании, совпадении – все таинство...

Михаил Михайлович Зощенко родился в Петербурге, но в одной из ранних печатных справок местом своего рождения он назвал Полтаву. Полтава была указана и в статье о нем в первой советской литературной энциклопедии, вышедшей в тридцатые годы. И дата рождения имеет два варианта: 1895 год – если придерживаться его собственных многочисленных автобиографических заметок (эта дата была указана также на его первом надгробии), или год 1894-й – принятый по уточняющим документальным разысканиям, на основании которых отмечался и его столетний юбилей. Такая изначально обозначившаяся вариантность жизненных координат проявлялась потом в судьбе Зощенко неоднократно.

Отец его, Михаил Иванович Зощенко, был художником («талантливым художником-передвижником», написал впоследствии о нем сын). И – потомственным дворянином. Ввиду того, что в послеоктябрьскую эпоху социальное происхождение приобрело особо острую значимость, писатель Зощенко постоянно указывал этот биографический факт в печати – не скрывая и не отрекаясь от своего родословия. Еще о родителях: отец – украинец, из Полтавской губернии, мать Елена Иосифовна (Осиповна), урожденная Сурина, русская, в молодости была актрисой. Таким образом, с его природной смуглостью, чернобровостью, чуть певучим голосом, томным выражением лица и затаенной насмешливостью в темно-карих глазах, с его элегантностью, независимо от того, что на нем надето (как описывал его в своих воспоминаниях Корней Иванович Чуковский, считая одним из самых красивых людей, виденных им), с его врожденной деликатностью, вниманием к каждому человеку, с которым он общался, и со всем присущим ему интеллигентным стилем поведения – Зощенко можно было бы определить как *петербуржца полтавского происхождения*.

В семье М. М. Зощенко сохранились документы, содержащие сведения о генеалогии их рода. И на основании копии свидетельства из Полтавского Дворянского Собрания, выданного его отцу «Дворянину Михаилу Ивановичу Зощенко для уверения о дворянском его происхождении», Михаил Михайлович Зощенко составил свою родословную, включив в нее сына и внука. Эта родословная была названа им «Автобиография», отпечатана на машинке, но не имеет даты. Очевидно, составлена она была в конце сороковых годов, в самое тяжелое время его жизни, когда он искал опоры в себе. Приведем ее текст:

«Бумага, выданная полтавским Дворянским Депутатским собранием 12 декабря 1875 года дворянину Михаилу Ивановичу Зощенко (моему отцу), в которой сказано:

Просителя М. И. Зощенко причислить к роду дворян Зощенков.

Состоит в 3 части Дворянской родословной книги Полтавской губернии.

В приложении:

Из представленных при прошении документов значится:

1. Копия аттестата, выданного 25 (1) 1867 г. за № 1352 из попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного Края России отцу просителя, Ивану Николаевичу Зощенку.

(Прапрадед) иностранный архитектор, „**зодчий**“, вероятно, получивший при крещении имя Аким.

Сын его, Николай Акимович, получил дворянство по собственным заслугам. (Как сказано.) Из чего явственно, что прадед мой был иностранцем, получившим дворянство по собственным заслугам. Но дворянство это – не национальное, столбовое российское дворянство.

Откуда приехал иностранный архитектор – мне неизвестно. Моя мать – русская. Однако ее прабабка – гречанка.

Прапрадед – иностранный переселенец Аким Зоценко, прибывший в Россию в 1789 г.

Сын Николай Акимович – прадед, получивший дворянство.

Сын Иван Николаевич – дед.

Сын Михаил Иванович – отец.

Сын Михаил Зоценко.

Сын Валерий Михайлович.

Сын Михаил Валерьевич».

(В самой копии свидетельства из Полтавского Дворянского Собрания дата его выдачи указана «Декабря 12 дня 1885 года».)

Детство и юность Зоценко прошли в годы царствования Николая II, последнего российского императора. Эти годы позднее называли «мирным временем», поскольку они предшествовали Первой мировой войне, хотя на тот период выдались и Русско-японская война, и революционные волнения с вооруженными выступлениями 1905 года. Но на семье Зоценко, как и на многих других, эти события не отразились.

Семья жила на уровне тогдашнего небогатого приличного достатка – с кухаркой и няней для детей, в обширной петербургской квартире, где имелись гостиная, столовая, кабинет отца, две детские комнаты, спальня родителей, комната прислуги (помимо, конечно, большой прихожей, кухни, ванной, кладовки). У отца на той же улице, через три дома, находилась отдельная вместительная мастерская, заполненная его картинами. На лето семья, в которой было восемь детей – пять девочек и три мальчика, – непременно выезжала на дачу.

В автобиографической повести «Перед восходом солнца» в главе «Страшный мир» Зоценко вспоминает ряд сцен из своего детства и отрочества, с 5 до 15 лет. В них отразились как его городская жизнь, так и дачная, летняя, когда совершалось первое соприкосновение его с природой, с деревней.

Из тех детских дачных впечатлений запомнились: знакомство с пастухом Андрюшкой, который повелевал целым стадом коров, вызывавших у городского мальчика Миши неудержимый страх; ужасные переживания в момент грозы, застигшей его и двух сестер в поле, когда они едва успели укрыться в доме; езда в телеге и удовлетворенное страстное желание самому, как хозяйский сынишка Васютка, править лошадью – держать в руках вожжи, покрикивать на лошадь и поворачивать ее в нужную сторону; зрелище пожара, поглотившего один из домов поселка; злая шутка над ним деревенских мальчишек, заманивших его, не умеющего плавать, в реку и толкнувших на глубокое место, где он вдосталь наглотался воды, пока они не спеша выволокли его на берег...

А насыщенная городская жизнь была заполнена бытом семьи, учебой в гимназии, взаимоотношениями с ровесниками. В детские годы среди сестер и братьев главенствовала, очевидно, старшая сестра, рослая и бойкая Леля, звавшая его Минькой. Ее он запечатлел впоследствии в цикле своих детских рассказов с широко известным рассказом «Елка», который уже много лет продолжают читать своим детям сменяющиеся поколения матерей.

Родители любили его, мать называла Мишенькой, но не спускала очевидных провинностей и в таких случаях брала в руки пояс, приговаривая: «Пойдем, я тебя немножко попорю, чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать». Отец же воспитывал словом и подчас ставил его в положения, когда проверялось, насколько он действительно добрый, не жадный мальчик.

Отношения между его родителями не всегда были благополучными. Михаил Иванович – высокий, со вкусом одетый, красивый, с черной бородой, как запомнил его маленький Миша, – имел успех у женщин. Он был на восемнадцать лет старше жены. Елена Осиповна догадывалась о его увлечениях, страдала, но никаких объяснений при детях они не допускали. На некоторое

время отец уходил из дома и жил в своей мастерской. Потом возвратился в семью. Он умер в возрасте пятидесяти лет от разрыва сердца, как тогда называли инфаркт. Этот роковой сердечный приступ случился дома, на глазах у сына. Смерть отца и его похороны стали самым сильным потрясением мальчика в отрочестве. Он впервые пришел на кладбище, присутствовал в церкви на отпевании сразу нескольких покойников. Гроб отца выносили из церкви художники, товарищи отца. Впереди на бархатной подушке несли орден Святого Станислава 3-й степени, который Михаил Иванович получил за свою мозаичную картину «Отъезд А. В. Суворова из села Кончаковского в поход 1799 года» на стене Суворовского музея. Его картины имелись также в Третьяковской галерее, в Академии художеств, а в советское время – в Музее революции.

Учился в гимназии Зощенко плохо. Даже по тем предметам, которые были ему интересны и которые он знал отлично – ботаника, зоология, – получал тройки. Интересовался он и историей, но не в изложении принятого в гимназии учебника. Учителя считали его рассеянным и обращали внимание родителей на то, что он сидит за партой так, будто происходящее в классе на уроке его не касается.

У него рано и остро выявилось чувство собственного достоинства. Был случай, когда учитель истории произнес его фамилию каким-то повизгивающим, глумливым голосом, не как обычно, а ученики в классе, сразу уловив эту интонацию, поспешили ее подхватить. Зощенко было неприятно, что его вызвали таким тоном, но он хорошо отвечал урок, пока дополнительный вопрос, прозвучавший опять насмешливо, не сбил его. И учитель, пренебрежительно махнув на него рукой, поставил ему двойку. По окончании урока Миша Зощенко бросился за учителем и догнал его на лестнице. Увидев лихорадочно взволнованного ученика, учитель сказал, что спросит его в конце четверти еще раз и натянет тройку. Но Миша Зощенко выпалил, что дело не в этом, что он плюнет в него, если тот еще раз произнесет его фамилию подобным тоном. Учитель потащил было его в директорскую, но вдруг отпустил и велел идти в класс. Через несколько дней, тихо, спокойно произнеся его фамилию, учитель снова вызвал его отвечать и поставил исчерпывающую эпизод тройку.

Запомнилось Зощенко и испытанное им состояние унижения, когда он вместе с матерью очень долго ждал, сидя на деревянном диване перед мраморной лестницей, пока к ним спустится известный художник и влиятельное лицо в Академии художеств П. П. Чистяков. Мать, взяв с собой двенадцатилетнего сына, пришла к нему в этот богатый особняк уже как вдова художника Зощенко, о чем и просила швейцара доложить «его превосходительству». «Его превосходительство» не пригласил их подняться в свои хоромы, передал, чтобы обождали внизу. Во время ожидания между матерью и сыном состоялся краткий разговор:

«– Если он так долго не идет, значит, он не нуждается в нас. Мама, давай уйдем.

– Не он, а мы нуждаемся в нем. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. А сколько мы получим, это будет зависеть от Павла Петровича».

Через час по лестнице спустился старик в черном сюртуке и в ответ на почтительный поклон вдовы и высказанную ею просьбу брюзгливо ответил что-то неслышное стоявшему в стороне мальчику. Беседа длилась три минуты. Но мальчик запомнил во всех подробностях поведение этого сановника: и то, как он невежливо разговаривал с его матерью, как сразу отвернулся от нее, едва попрощавшись, и как совсем проигнорировал присутствие здесь же сына умершего художника...

Это обостренное чувство собственного достоинства и неприятие обиды толкнуло его в юности даже на крайний поступок – на попытку самоубийства. На выпускном экзамене в гимназии он получил единицу за сочинение на тему о тургеневских героинях, о Лизе Калитиной. Сама тема ему, более склонному к народному восприятию жизни, не представлялась близкой, но кроме единицы под сочинением было еще написано красными чернилами: «чепуха». «Ско-

рей от бешенства, чем от отчаяния, я пытался покончить со своей жизнью» – так сказал об этом событии Зощенко спустя двадцать лет в автобиографическом комментарии к своей повести «Возвращенная молодость». Там же он отметил: «Эта неуспеваемость по русскому мне сейчас тем более странна, что я тогда уже хотел быть писателем и писал для себя рассказы и стихи». Взрыв, следовательно, исходил из глубины души: литература – мечта, влечение, цель, и вдруг провал, удар в самую чувствительную точку, да еще с нестерпимо обидной для обостренного самолюбия припиской. Так что, видимо, и «бешенство», и «отчаяние» имели в данном событии равновеликое значение. К указанным причинам следует добавить и возраст «туманной юности» с неустойчивостью в восприятии окружающей действительности и предрасположением к эмоциональным срывам. Он проглотил тогда кристалл сулемы, имевшийся у него для фотографии. И в повести «Перед восходом солнца», в эпизоде «Пытка», описал, как ему делали промывание желудка.

Здесь следует сказать о первых литературных опытах Зощенко. В своей статье-воспоминании «Так начинал М. Зощенко» его вдова Вера Владимировна приводит запись из ведшейся им в 1917–1920 годах тетради, где он хронологически зафиксировал свои ранние пробы:

1902–1906 – стихотворения.

1907 – рассказ «Пальто».

1910 – рассказ «За что?».

Как видим, эти пробы начались с 7–8 лет. По всей вероятности, литературные задатки передались ему от матери, которая, несмотря на обремененность большой семьей, писала для газеты «Копейка» рассказы из жизни бедных людей. Те первые пробы не сохранились. Сохранились два рассказа, написанные в 1914 году еще до германской войны. В одном из них («Двугривенный») воспроизведена сценка в церкви. И есть такое наблюдение:

«В церкви больше всего женщин. Всё беднота... Где же богачи молятся?

Вот в этом тусклом углу нищие. Серые, оборванные, с жуткими болезнями и робкими глазами».

К гимназической поре относится и еще один характеризующий его эпизод. Однажды он был на елке у своего товарища в очень богатом доме. Кроме подарков, которыми одаряли всех гостей, сестра его товарища подарила лично ему красивый альбом для марок, изящный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. А когда гости стали расходиться, она пошла его провожать со своей горничной. Весело болтая, они дошли до его дома. Прощаясь, он пожал ей руку, а потом так же за руку попрощался и с ее горничной. Сестра товарища вспыхнула и пожалала плечами. На следующий день она сказала ему: «Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Он смутился, покраснел, потом ответил: «Я не вижу ничего дурного в том, что так попрощался с ней». Но сестра товарища опять не согласилась с ним: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, а потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Они прошли две улицы молча. Ему было не по себе. И, сняв свою гимназическую фуражку, он простился с этой девушкой.

Рассказал Зощенко в «Перед восходом солнца» и о своей юношеской любви. Ее звали Надя, она жила в том же доме и была дочерью генерала. Они виделись каждый день, но Надя посылала ему еще и письма – в красивых длинных надушенных конвертах, над чем посмеивались его сестры. Как и он, Надя была гимназисткой – им было по шестнадцать лет. Они обращались друг к другу на «вы», даже когда говорили о любви. И шли в кино, чтобы в течение всего сеанса, два часа, целоваться, поскольку на улице это считалось недопустимым, неприличным...

Окончив классическую гимназию в 1913 году, Зощенко осенью поступил на юридический факультет Петербургского университета, но учился без интереса к избранной профессии. За первый курс он сдал минимум – один экзамен по римскому праву. Зато много времени

проводил в физическом кабинете, где слушал лекции привлечшего его внимание профессора. А весной 1914 года, находясь почти совсем без денег, поехал на заработки на Кавказ, работал там на железной дороге контролером поездов (в курортный сезон ветка Кисловодск – Минеральные Воды, считавшаяся шикарной, традиционно обслуживалась студентами), давал частные уроки.

2. Офицер-фронтовик

Он вернулся с Кавказа в Петербург осенью, с началом «европейской всемирной войны», как называли тогда Первую мировую. И – вместо продолжения учебы в университете записался на ускоренные военные курсы в привилегированном Павловском училище, куда принимали прежде всего дворян. В это же время он был исключен из университета за невзнос платы. Окончив по 1-му разряду четырехмесячные военные курсы и получив первый офицерский чин прапорщика, Зощенко прибыл в марте 1915 года на германский фронт.

В разные годы Михаил Зощенко давал различные толкования своему решению идти на войну. В первой большой и задористой статье 1922 года «О себе, об идеологии и еще кое о чем» он написал: «В 13-м году я поступил в университет. В 14-м поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведем К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, – поехал добровольцем на войну». А в более поздней автобиографии 1932 года указал: «В 14 году пошел добровольцем на фронт. (Скорей из любопытства, чем из патриотических чувств.)» И еще, в уже упоминавшемся комментарии к повести «Возвращенная молодость» 1933 года, сказал так: «Осенью, в начале войны... прослушав ускоренные военные курсы, уехал прапорщиком на фронт. У меня не было, сколько я помню, патриотического настроения – я попросту не мог сидеть на одном месте из-за склонности к ипохондрии и меланхолии. Кроме того, я был уволен из университета за невзнос платы». Как видим, из побудительных мотивов им убирается возможный патриотизм, который тогда относился бы к царской России и был бы чужд, осуждаем в пролетарском государстве. Однако в «Перед восходом солнца», лишь частично опубликованной в 1943 году, в самой середине Великой Отечественной войны (публикация была оборвана на половине по грозной команде сверху), писалось уже иначе: «Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину». (Правда, здесь же упоминалась и его тоска, меланхолия.)

В ранней же статье 1922 года, написанной раскованно, вольно, даже весело, – о себе, как о «человеке необыкновенном, герое и авантюристе», говорилось им явно с само-иронией. Имелись, конечно, и более серьезные мотивы его ухода на фронт: неприжитость в университете, юношеский романтизм (с находившимися в свое время на Кавказе Лермонтовым и Толстым в душе), благородные принципы, кодекс мужчины. И – зов таланта, как у юного Толстого, устремившегося в Севастополь во время Крымской войны, как и у современника Зощенко, его «однокашника» по Первой мировой войне юноши Хемингуэя...

Он получил назначение в 16-й Гренадерский Мингрельский Его Императорского Высочества Великого князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской дивизии. Сначала прапорщик Зощенко был назначен начальником пулеметной команды, затем стал командиром роты. Командовал полком генерал князь Макаев, который после первого же боевого дела, порученного Зощенко, объявил, что очень доволен его ротой. Зощенко был сконфужен такой оценкой, ибо они не прорвались через вражеские заграждения, не выбили немцев из их траншей. Он не знал – его просто не поставили об этом в известность перед боем, – что тут была предпринята всего лишь отвлекающая атака одного подразделения, демонстрация, заведомо обреченная на жертвы, а не само наступление, проводившееся на другом фланге соседним полком. В этой атаке Зощенко был легко ранен осколком в ногу, но, стремясь выполнить поставленную задачу, добежал до колючей проволоки немцев, где вместе с ротой пролежал два часа под неистовым пулеметным и артиллерийским огнем, когда нельзя было приподнять голову, не то что подняться в рост, и только потом, получив приказ командира батальона, отвел роту на свои исходные позиции.

Одним из самых сильных фронтовых испытаний, выпавших на его долю, была газовая атака немцев под белорусской Сморгонью в ночь на 20 июля 1916 года. Зощенко помнил об этом всю жизнь. Полковой лекарь дважды составлял в тот день донесения об «отравленных ядовитыми газами противника». В итоговом донесении значилось: «Пострадало 3 офицера. <...> Из нижних чинов пострадали 405 человек, из них 14 умерло. <...>». Все трое пострадавших офицера были младшими – два прапорщика и один подпоручик. Подпоручик Зощенко наглогался удушливых газов, когда подавал команды своим гренадерам, прежде чем самому надеть противогаз. Газ немцы методично выпускали из баллонов, используя ветер, дующий в сторону русских. После этой газовой атаки Зощенко два месяца лежал в госпитале.

Вскоре он стал поручиком. А затем князь Макаев перевел Зощенко, которого звал «малыш», на должность полкового адъютанта (офицер при командире полка для служебных поручений и штабной работы). В середине войны Зощенко был уже командиром батальона. Но его молодость и внимательное отношение к подчиненным создавали ему субординационные трудности. Гренадеры с улыбкой отдавали честь своему батальонному. Около его землянки в период затишья целый день толклись люди – шли за советом по личным делам, с просьбой написать письмо. А за спиной он слышал, как они называли его «внучек».

Ему постоянно приходилось решать сложную – особенно в армейских условиях – моральную задачу: быть строгим единовластным командиром и одновременно сдерживать себя в применении суровых мер наказания даже к явным, казалось бы, негодяям. Задача еще более усложнялась его врожденной деликатностью и абсолютным уважением к человеческой личности. Во фронтовых эпизодах его автобиографической повести есть глава «Вор». В ней Зощенко описал случай, когда батальон был на отдыхе, а он, комбат, спал в избе на кровати:

«Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.

Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.

Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: „Стой!“ И если бы он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.

Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке.

– Зачем же ты взял? – спрашиваю я его.

– Для махорки, ваше благородие, – бормочет он.

Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.

Вынув бритву, я отдаю ему коробку. И ухожу, раздраженный на самого себя».

Тем не менее, его авторитет как боевого командира был общепризнан – и подчиненными, и начальниками. Он уверенно управлял батальоном, показывал личный пример выносливости и отваги.

От тех боевых времен сохранилось несколько фотографий. Вот прапорщик Зощенко в Петрограде, в августе 1915 года, сидящий очень прямо на табуретке с упертой в пол между колен шашкой, без фуражки. Совсем юноша, мальчик. В Петрограде он был тогда, по-видимому, проездом в командировку за пополнением. А вот – через год – уже совершенно бывалый воин, стоит на лесной дороге, в привычной для него полевой форме, уверенный в себе фронтовик-окопник. И еще – групповая фотография. Под фотографией приписка Зощенко, сделанная в 1933 году в духе советского времени: «„Золотопогонная сволочь“ в 1916 году на фронте. Господа офицеры Мингрельского полка Кавказск. Гренад. дивизии. Я командир батальона. В центре. Группка идеологически не выдержана. Наша молодая общественность простит меня – был очень молод! В то время мне не было 20 лет. М. Зош.». (Фотография была включена в альбом «17 лет жизни М. Зощенко. 1916–33».)

А в самом начале столь памятного для него 1916 года Зощенко испытал и глубокие личные переживания. Ему был предоставлен отпуск, и по приезде в Петроград (Санкт-Петербург переименовали с началом войны) он явился к своей любимой с гимназических лет Наде В. Взволнованное объяснение произошло на скамейке у известного в Питере памятника эсминцу «Стережущему» – это было давнее место их свиданий, где Надя призналась ему однажды в любви и откуда они шли в кино целоваться. В своей автобиографической повести Михаил Зощенко рассказывает об этом фактически прощальном их свидании с такой немногословной проникновенностью, а любовь к Наде была для него настолько значимой, что здесь следует привести эту небольшую новеллу почти целиком:

«...Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:

– Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.

– Вы любите его? – спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.

– Нет, я его не люблю. Я люблю вас. Я больше никого не полюблю. Я откажу ему.

Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.

– Но как я могу ему отказать, – говорит Надя, медленно перебивая себя. – Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне имение в Смоленской губернии.

– Тогда не надо, – говорю я. – Ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен.

Надя говорит:

– Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить... Я вам отвечу послезавтра.

На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом.

В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.

Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.

Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.

Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор».

Зощенко пишет, что был «взбешен», встретив Надю под руку с ее женихом назавтра после их объяснения, и потому порвал с ней. Очевидно, в этой реакции были и обида, и гордость, и отчаянность молодости, когда поступки диктуются эмоциями. Но, наверное, сработала также и его интуиция, некое предчувствие грядущих перемен в его жизни, которые все равно разделили бы их судьбы – ее, дочери генерала, получившей в подарок от жениха в день обмена кольцами целое имение, и его, офицера-окопника, сына художника-демократа. Да ведь и того ранее, еще в начале войны, когда он уехал «так неожиданно» для Нади на фронт и весь год не писал ей, – тоже, вероятно, сказались на его поведении те материальные трудности, которые его тогда преследовали и вынудили бросить университет. Так или иначе, это был первый из ряда тех разрывов, какие ему предстояли в скором времени. Однако, несмотря ни на что, любовь сохранилась. Первая, Трепетная, юношеская любовь, памятная на всю жизнь...

Он вернулся в свой полк, на фронт, к своим боевым товарищам-офицерам, к своим солдатам, и воевал еще полный год, в каждый из дней которого мог быть убит. К концу войны он имел пять боевых орденов, чин штабс-капитана, был представлен в капитаны. «Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце». Такое резюме дает сам Зощенко в повести «Перед восходом солнца» своему рассказу об участии в Первой мировой войне.

Приведем перечень боевых наград Зощенко, заслуженных им на «германской» войне:

1. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом – «За отличия в действиях против неприятеля». (Награжден в чине прапорщика.)
2. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». (Награжден в чине подпоручика.)
3. Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами. (Награжден в чине поручика.)
4. Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. (Награжден в чине штабс-капитана.)
5. Орден Святого Владимира 4-й степени. (Приказ был подписан в январе 1917 года, но орден не получен в связи с эвакуацией в тыл по болезни и последующими революционными событиями. Одновременно его представили к следующему чину, но и это представление осталось на бумаге.)

«Финал» – так названа в автобиографической повести глава-эпизод, описывающая офицерский ужин на отдыхе во втором эшелоне, после которого он почувствовал, что серьезно болен. Военный врач ставит диагноз: порок сердца. «Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу». Это был февраль 1917 года.

Литературные следы от тех боевых лет остались у Зощенко в его фронтовых «полевых книжках» полкового адъютанта и командира батальона. Там между сугубо служебными записями – черновиками приказов и донесений, схемами позиций и другими боевыми пометками появляются эпиграммы на однополчан, наброски сюжетов рассказов и черновики его писем. Письма адресовались женщинам. И следует согласиться с мнением В. В. Зощенко, что «некоторые – например, „К Евгении А...“, при которых имеются даже планы письма-рассказа, или „Письмо тоскующему другу“, – были полностью „литературными произведениями“, но для всех писем характерно одно: изысканный слог, „поэтическая настроенность“ и тема – любовь и печаль, стремление понять, что такое любовь для женщины и что она для мужчины. Из письма в письмо кочуют „поэтические“ вступления, красивые фразы, утонченные чувства. И кажется, эти письма рождены в основном потребностью писать». Для подтверждения своего мнения Вера Владимировна справедливо ссылается на письмо Зощенко с фронта сестре Валентине от 13 ноября 1916 года, в котором он, намереваясь сделать ее адресатом своих писем-размышлений, говорит о них, как о подходе к своей «цели», которая у него уже «есть»:

«...Так слушай: чтобы не одуреть окончательно и не заплесневеть в одиночестве своем, решил занять чем-то мысли и сознание. Иногда, когда радость, или печаль, или скука томящая резче заставляют думать логически, тогда хочется писать, чтобы как-то проникнуть в анализ разума. <...>

Так вот – иногда буду писать тебе. Что – пока безразлично. Ты читай их, и у тебя, несмотря на лень природную, явится желание писать, чтобы письмами своими создать и себе и мне настроение.

Для сердца не придумано законов и искренности чужда логика, и потому не думай долго над словами моими.

А когда прочтешь письмо – то первое впечатление и есть истинное. <...>

Я буду читать письма, они сгонят тяжелые позиционные думы и заставят разгладиться несколько морщинок у губ, печать печали моей и дум».

Действительно, с фронтовыми письмами у Зощенко были связаны и личные переживания, и его целевые устремления. И все литературные наброски в Полевых книжках 1915–1917 годов свидетельствуют о происходившем в нем необходимом для творческой личности процессе внутреннего развития. Причем на этом этапе уже начали проявляться его сатирические способности (пока в виде эпиграмм) и склонность к глубокому познанию человеческой природы.

Однако в неслужебных записях Зощенко в Полевых книжках, среди писем, адресованных женщинам, есть четыре письма Наде В. – Наде Русановой-Замысловской, которые важны прежде всего для понимания его отношения к ней. И хотя здесь также немало внимания уделялось стилю, главное в этих письмах то, что они отразили историю первой и самой трепетной любви Зощенко.

Уехав на фронт, он почти год не писал Наде. За это время из юноши, которому было многое неясно в самом себе, в своих конкретных стремлениях, которого крепко поджимало безденежье, материальная скудость, он превратился в молодого мужчину, фронтового офицера, выдержавшего многотрудные боевые испытания, видевшего смерть, гибель людей и все же обретшего внутреннее равновесие. Уезжал на фронт юноша с мятежной душой, совсем еще не готовый к какой-либо собственной семейной жизни; теперь, возмужав, он все чаще вспоминает о Наде.

Первое письмо ей датировано 24 декабря 1915 года. В нем Зощенко постарался аккуратно объяснить свое поведение в течение всего их знакомства и «дать несколько верных штрихов о себе и своем неопределенном молчании»:

«Я не солгу Вам, Надя, если скажу, что с того времени, как я уехал, я много раз пытался писать Вам и всякий раз не смог закончить письма – видит Бог – не потому что было лень или нежелание писать, нет, скорее слишком много накопилось у меня неясных вопросов, больших и маленьких, которые отягчали бы письмо и заставили бы Вас, быть может, понять по-иному. <...>

<...> В 16 году будет пять лет нашего знакомства, пять лет, маленькая частица жизни, маленький юбилей, и теперь, если смело, без фразы и рисовки подвести итог нашему отношению, то что же выйдет?

Выйдет печальная истина, грустная картина наших отношений: из пяти лет, по крайней мере три года ссоры и маленьких недоразумений, год неопределенных ожиданий и неясных дум и год, быть может, спокойной Дружбы плюс, пожалуй, маленькой влюбленности (с моей стороны).

Сейчас опять не то мы накануне размолвки, не то раздора.

Пусть же теперь не будет этого. Пусть будет спокойное и смелое сознание дружбы.

Я Вам не солгу, Надя, если скажу, что за все время у меня было самое хорошее воспоминание о Вас, и сейчас нередко какое-нибудь маленькое воспоминание встречи ли или письма стоняют скучные позиционные думы и заставляют разгладить несколько маленьких морщинок на лице, которые появились так недавно.

Я не солгу Вам, если скажу, что вспоминаю Вас гораздо чаще, чем это требует простая холодная дружба».

Поскольку писем Нади в архиве Зощенко не сохранилось, можно лишь предполагать их содержание – по тому, что писал ей он. Очевидно, в своем ответе на его декабрьское письмо Надя поведала ему о своей тоске, одиночестве, переживаниях. И не скрыла, что тревожится, тоскует о нем. А Зощенко после такого признания стал более сдержан, потому что его фронтовое бытие не позволяло загадывать далеко, да и само решение в отношении Нади у него еще не созрело окончательно. И в следующем своем письме, датированном 5 февраля 1916 года, он затормозил их сближение, сохраняя дистанцию, которую считал в тот момент нужной. Письмо писалось в два приема, и в нем стиливые красоты и «кочующие» фразы резонерски перемежались общими витиеватыми советами:

«Вот сейчас получил Ваше письмо, и оно поразило меня.

Я удивился настроению мыслей Ваших, и мне страшно за Ваше душевное опустение и непозволительную тоску.

Мой милый друг, зачем такая печаль, зачем мысли грустные – повод к отчаянию?

Я не гожусь в роли утешителя, но все же хотелось бы если и не утешить Вас, то сильными и красивыми мыслями заставить Вас не быть одинокой.

Откиньте расстояние и приблизьте меня в мыслях своих – я подле Вас, тоже печальный за Вашу печаль, но сильный духом.

Мой милый бедный друг, слышите ли Вы меня и поймете ли? Я подле Вас, спокойным голосом, Вам знакомым, заживляю Вашу тоску и смотрю в широко открытые печальные глаза.

Вы печальная и тоскующая, бойтесь одиночества – от него отчаяние и смерть души. Не окружайтесь мыслями – в них запутаетесь и не найдете выхода. А если мысли тяжелые уже пленили Вас своей остротой и неожиданностью – рвите их и бойтесь медлить.

<...> В печали своей улыбнитесь задумчивой, мне памятной улыбкой, а я расскажу Вам индийскую легенду, что, когда человек улыбается, в душе его расцветает белый прекрасный цветок и этот цветок – лучшая жертва богу вечерних часов.

Так кончил я свое письмо, к Вам, тоскующему другу, и боюсь перечитывать.

7 февраля

Знаете что? Если и после письма останется та же тоска и не будет легко и стыдно за свои мысли печальные – бойтесь и не создавайте одиночества, бегите к людям и любите жизнь.

Ваш Мика

Вы мне напишете? Да?

Я жду и целую».

Такое довольно резонерское письмо должно было, по меньшей мере, охладить Надю в ее чувствах. А тут подоспело и сватовство состоятельного жениха, которого охотно приняли в семье. И Надя не стала сопротивляться судьбе. О чем и сообщила своему Мике...

В его ответном письме, хоть и было оно названо им «поздравлением» со взятыми в эпиграф словами Нади, выразилась вся совокупность мгновенно взорвавшихся в нем чувств. Конечно, он старался сохранить самообладание и свое положение ведущего в их с Надей отношениях. Но под этим прикрытием все его усилия были направлены на то, чтобы не потерять ее. Он сразу обращается к их прошлому, истолковывая его, взывая к нему. Он напоминает ей об их общих тогдашних рассуждениях и не без ухищрений предостерегает от замужества; наконец, без околичностей умоляет не выходить замуж – за другого. И полностью открывается в своей любви к ней:

«Поздравление

Апрель 16 г. Петроград

« Между прочим, я выхожу замуж...» Люблю... А Вас помню.....»

Ваша открытка пришла сегодня – она удивила меня... Она такая отрывистая, не сразу понятная, такая беспомощная... Ну как Вы иногда. Вашу беспомощность я так ясно видел летом, вот в тот день, когда я сказал: люблю. Как Вы радостны были. Помните, как ждали этого? А потом, когда Вы наивная глазами спросили, когда же свадьба, я засмеялся... Простите... Свадьба? Зачем? Если Вы хотите продолжить любовь мою, не требуйте свадьбы и не отдавайтесь мне. Будьте как сказка: всегда желанная, будьте в этом лесу нимфа, у омута – омут, на берегу русалка... Только одно лето... Я говорил Вам это... Не отдавайтесь мне. Сейчас, когда я не опьянен еще близостью Вашей, я так прошу: не отдавайтесь мне. Потом я буду просить, умолять ласково и требовательно, может быть, соглашусь на все условия – не верьте. Будьте неуловимы. Бедная, как Вас поразило это... Вы ведь любили меня... Что это – насмешка или прихоть? Вы не знали. Это – желание любить. Вас.

* * *

У Вас есть альбом. Красный. Плюшевый. Смешной, детски наивный альбом. Пойдите возьмите его. Посмотрите, что я написал Вам.

Откройте дневник – что Вы писали... Вы научились понимать меня. Вы поняли. Поняли: если хотите любви, не выходите замуж. Любите, иногда допускайте близость, но не вечно-пошное, испробованное сожителство.

Вы же поняли. Я гордился Вами, моей ученицей. Поняли, чтоб при первом случае выйти замуж.

Матерью хотите быть?

Дневник, Ваш спасательный дневник! Неужели не помог Вам? Вы писали:

„...Любить, пока любить, а изверившись в этом, быть матерью, производительницей. Честной матерью, – которой долг – дети.

Дайте же женщине быть женщиной, а не только матерью. Ну не долго, ну хоть пять лет. Это так мало. Это такая маленькая награда за десятки лет материнства...“

Вы так писали. Кажется, так... Вы замуж выходите... любите... Значит? Значит... Презрение Вам обыкновенной женщины. Трусливой в жизни, такой обаятельной, любимой...

Простите...

Вы замуж выходите... Вот что я Вам скажу на ушко: Через год Вы не узнаете, что любовь и что привычка. Через 2 года будете настойчиво требовать от мужа клятв и доказательств его вечной любви. Он Вам будет говорить долго и скучно о своем обязательно-искреннем чувстве, о душе „понятной ему и любимой“.

Будет доказывать на деле. Вы больше всего бойтесь этого и помните вечно, что доказать любовь любовью же, это не доказательство. <...>

<...> В память лета, моей любви не выходите же замуж!

Вы выходите замуж... Что ж!

Мое поздравление примите, а радость моя в Вашей перемене только та, что я смогу уже законно и при всех целовать Ваши ручки. И только.

Нет... Еще я печален за Ваше счастье.

Ваш.

P.S. Если не поверите мне – порвите все: Ваши дневник, альбом, забудьте красивую нашу любовь и выходите тогда.

А может быть, Вы еще часто вспоминаете лето? Наше лето... Если не выйдете замуж... поймете... Ну поймите... вот я целую Ваши ручки... Поймите же... Тогда... Тогда приходите ко мне. Свадьба? – Извольте!

Я люблю Вас...

Мих. Зош.».

Вслед за этим письмом, добившись отпуска, он примчался в Петроград сам. Соединения их судеб, как известно, не произошло. И в той жизни, в которую перешел затем Зощенко, Надя Русанова осталась для него воспоминанием – и о первой любви, и о былом времени, и о нем самом, каким он был тогда.

3. Межвременье

Он был демобилизован и вернулся в Петроград в дни, когда произошло отречение Николая II. Подобно многим людям демократического склада характера и образа мыслей, Зощенко воспринял это событие как надежду на благоприятные перемены в России. И пошел на службу к Временному правительству. В биографической заметке «О себе» (сентябрь 1927 года), потешливо написанной для «Энциклопедии» авторов и художников юмористического журнала «Бегемот», Зощенко так рассказал о первом полученном им тогда назначении:

«Самая пышная должность у меня была в 17-м году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в „Астории“.

Я на полчаса являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шаляпина как-то раз встретил у Горького. <...>».

По приезду он увидел Надю и ее мужа – она, как тому и следовало быть после ее помолвки и его демонстративного отъезда, вышла замуж. Разговор между нею и Зощенко был кратким и коснулся произошедшей революции. Надя оказалась чуть ли не единственной среди его знакомых, которая считала это событие ужасным, опасным для России и не ждала ничего хорошего. (Рассказывая об этом в своей повести, Зощенко поведал также, что она затем вместе с мужем и только что родившимся ребенком оказалась среди тех, кто бежали из Петрограда и покинули Россию. Но Надя не исчезла из его жизни навсегда. Кое-какие сведения о ней доходили до него и потом. И под самый конец, четыре десятилетия спустя, ему будет уготовано еще одно, заключительное, свидание с нею.)

А в мае 1917 года он встретился с Верой Владимировной Кербиц, по первому браку Мартанус, которая через три года стала его женой. Отец Веры Владимировны был офицер (капитан), военный топограф. А сама она окончила Петровскую гимназию и два дополнительных педагогических класса. Ко времени знакомства с Зощенко она пережила свою первую романтическую любовь (к юноше, который затем ее оставил и женился на другой избраннице) и первое замужество. В своих «Воспоминаньях», писавшихся много позднее (около 1970 года), но по дневнику тех лет, она так размышляла об этих увлечениях: «Почему с Дмитрием я безвольная, жалкая, слабая, а с Виталием – гордая, смелая, сильная царица? Почему один покорила меня, а другой мне покорился? Почему, почему так?.. Или придет третий?» («Третий» было подчеркнуто.) Тогда же ею было сделано и такое признание: «Хочу роскоши, довольства, а в роскоши, в богатстве так много красоты, так много поэзии, наслаждения... Этой красоте хочу я теперь служить и молиться, если не могу служить и молиться другому богу – Дмитрию».

Ее первым мужем был Виталий Мартанус, тоже юноша, фронтовик, прапорщик и Георгиевский кавалер. Шла война, и девичьи мечты, естественно, принадлежали молодым героям. Но вскоре Вера Владимировна поняла, что ее Витик, несмотря на Георгиевские кресты, «совсем обыкновенный, совсем будничный, даже не умный, малообразованный». А ее идеал должен был сочетать в себе «поэзию, красоту, силу...», быть «сплошной гармонией красок и звуков». Таким идеалом предстал перед нею Михаил Зощенко, вернувшийся с фронта красавец-«башлык», как его прозвали друзья, познакомившие с Верой, за то, что он особенно красиво носил на своих плечах форменный белый башлык.

Их роман развивался стремительно. Зощенко настолько был увлечен ею, что задавал себе вопрос: «Чем околдовала меня эта маленькая женщина?» Он писал: «Я люблю ее, мне почему-то не хочется, страшно и стыдно признаться даже себе. Я слишком высоко-эгоистично расце-

ниваю себя в жизни. Знаю, что меня можно прельстить телом, но никогда не думал, что покори́т неведомое мне обаяние...»

А в «Воспоминаниях» Веры Владимировны есть такие строки: «...в его отношении, в его обращении со мной проскальзывал, сквозь нежную ласку, внимание и предупредительность, такой знакомый тон, милый и ненавистный, тон собственника...»

Таким образом, в их отношениях обозначилось изначальное противостояние характеров.

Эта встреча совпала у Зощенко с пробудившейся тягой к активной литературной работе. И состояние влюбленности, вероятно, также стимулировало данный процесс. Вот что сообщает Вера Владимировна (в статье «Так начинал М. Зощенко») о рассказах, которые он во множестве, с высвободившейся из-под спуда творческой энергией, принялся писать после фронта, читал ей вслух, посылал по почте (хотя они виделись летом этого года через день):

«О чем бы ни писал он тогда, в его рассказах, новеллах, сказках, миниатюрах всегда присутствовала тема любви.

Автору было двадцать два года, и он только что вырвался из войны, где рядом была смерть. К тому же умами молодежи в то время властвовали Арцыбашев, Вербицкая, Каменский и некоторые другие писатели, в произведениях которых пропагандировался „культ земных наслаждений“, „культ тела“, чувственная любовь и прочее в этом духе. И то, что писал Зощенко, было как бы данью еще не ушедшей моде».

Имело, надо полагать, значение и все то, что переживал он сам в это лето. И что отразилось в его многочисленных письмах Вере Владимировне, которые, как она отмечает, тоже были одновременно литературными произведениями: «Каждое из них имеет даже название, так что скорее это не письма как таковые, а тоже литературные произведения: „Гимн придуманной любви“, „Дайте мне новое“, „Пришла тоска – моя владычица, моя седая госпожа...“». Одно из процитированных писем она прямо называет стихотворением в прозе:

«Вместе с осенью пришло что-то новое... Какая-то тревога, может быть, печаль. А часто апатия, почти умирание... И капли дождя, что бьют по стеклу, – беспокоят...

Что они напоминают?

Да, слезы и Вашу печаль...

Помните, как Вы ждали осени? И вот пришла осень. Вот она, такая скучная и дождливая. Печальная. Пришла и покорила Вас, как покоряли уже и белые ночи, намеки ночей, и летнее небо, и даже белые цветы яблони. Весной у Вас были весенние, такие радостные глаза и наивные губы. Весной Вы ждали любви.

А когда пришло лето, городское и душное, Вы как-то изменились. В Вас ничего не осталось: весеннего. Летом Вы хотели любви, ибо всегда Вас все подчиняло. Весной Вы были весенняя, летними ночами знойная и чувственная, вечером часто такая же грустная, как задумчивые сумерки. И обаятельное утро рождало в Вас новое. Вас все подчиняло.

И вот пришла осень... Посмотрите – она во всем сейчас. Даже в сумеречных Ваших мыслях. Даже в Ваших глазах. И эти капли дождя, вот что бьют по стеклу, похожи на Ваши слезы. На Вашу большую, осеннюю печаль. Они беспокоят.

Тогда кажется, что нет больше личной жизни, что она ушла, что все умирает...»

Однако, несмотря на обилие «любовных» рассказов в модном стиле и на то, что они, по свидетельству Веры Владимировны, проходили процесс совершенствования от натуралистичности к психологизму, все они оставались у Зощенко в рукописях.

Затем, в сентябре 1917 года он неожиданно уехал в командировку в Архангельск, где был адъютантом местной дружины и секретарем полкового суда (видимо, по связи с прежней своей учебой на юридическом факультете).

И здесь надобно воссоздать его тогдашнее умонастроение и самоощущение.

Вернувшись в Петроград с германского фронта, Зощенко был на первых порах готов продолжать свое прежнее, доармейское бытие: те же друзья, знакомства, тот же круг общения, интересов. Он даже попадает в один весьма аристократический дом – к княгине Б., хотя раньше ему не приходилось бывать среди аристократии. Но – «Февральская революция сломала сословные перегородки». Зощенко сидит в гостиной княгини с орденом на френче – на такой парадности настоял приятель-правовед, приведший его в этот дом. И в Архангельске, куда он вскоре уехал, он ведет тот же образ жизни. Местные дамы деятельно прочат ему в невесты дочь самого богатого рыботорговца; молодая вдова морского офицера, у которой их составившаяся компания играет по вторникам и субботам в покер, одаривает его неожиданным свиданием (окончившимся, правда, из-за его неуместной откровенности отставкой); у него превосходные английские замшевые перчатки и связь с француженкой, мадемуазель Р., которая старалась увезти его в Париж...

Однако за всей этой «светской» жизнью в Архангельске, как и в Петрограде, у него продолжалось активное освоение потока современной литературы. Он жил литературой и постоянно вбирал в себя ее нашумевшие и просто заметные явления. А Блок и Маяковский особенно повлияли в это время также на формирование его мировоззрения.

Из Архангельска он продолжал переписываться с Верой Владимировной. И по содержанию, и по стилю это были все еще характерные любовные письма. Несмотря на их близкие отношения, Зощенко обращается к ней на «вы». Одному из писем предпослан эпиграф – строчки из стихотворения Веры Инбер «Сказки». А в самом письме дважды цитируется (в измененном виде) строчка из песни А. Вертинского «Лиловый негр». Это его письмо было написано 26 ноября 1917 года в ответ на полученное от Веры Владимировны после долгого, как ему казалось, перерыва, в который Зощенко очень тосковал по ней:

«<...> А с тоской плелось сожаление. Сожаление о неслучившемся. Я метался по комнате и просил Бога, и как-то нелепо, неумело:

– Бог, сделай так, чтоб мы увиделись. Сделай. Ты можешь. Ты же все можешь...

Тянулись дни.

А в тот день, когда мне показалось, что чувство стало меньше, и когда я понял, что еще день, и все пройдет, – пришло письмо. Письмо от Вас.

А... Она так... Она хотела помучить...

И вдруг показалось, что так и должно быть. Как я мог сомневаться, что Вы вовсе забыли меня?

Конечно, нет.

И я смеялся самовлюбленно, как люди смеются, когда миновала опасность и наступил покой и уверенность.

Я читал Ваше письмо. Я упивался. Я к самому лицу подносил бледный Ваш конверт и тайне целовал Ваши губы.

И я опять любил Вас за то, что этим письмом Вы словно явились невидимая и словно шепнули: „Люблю“.

Знаете что? Раньше, когда я не получал Ваших писем, я беспокоился, беспокоился...

Теперь же не дает покоя только одна мысль:

„Кто Вам сейчас целует пальцы?“

И я не знаю, что лучше...

До свиданья... Ау!»

Затем в другом, уже январском письме (1918 г.), в котором явно влияние Ницше, Зощенко писал:

«Глаза мои устали, утомились, и не видел я истину, которую Вы мне дали.

Большое показалось смешным, малое – безобразным, и казалось мне, что Ваше желание – только каприз, а в нем ненужное испытание и насмешка.

Как больно сначала ударили меня Ваши слова: „Приезжайте немедленно, иначе не увидимся...“

Как смеялся я над их безобразием! О, как смеялся я над их бессилием!

Я в смехе хотел найти примирение, но крадучись, ночью, когда я спал, пришла злоба.

Простите меня, что она пришла. Не звал я ее. Маленькое неуклюжее животное, оно больно кусало мои руки, и я спрятался от него в себе самом.

А сегодня, когда оно ушло, я вернулся к старым богам...

Сегодня суждено мне побить себя камнями.

Я хотел и раньше писать искусанными злобой руками... И как я доволен, что я не писал!..

<...>

<...> Все мне казалось таким безобразным, все было увешано отвратительными и старыми истинами. И Ваше требование было насилием.

<...> Нет! Нет злобы больше. И нет камней, которые бы я бросил в Вас.

Они для меня. <...> Потянули Вы меня за руку, как слепца, и мне казалось, что я больно ударюсь о землю. Вырвался я тогда и громко смеялся. Ведь это был месяц, когда я боялся земли и когда моим Богом было лишь Солнце. Это был месяц, когда я думал, что вот еще миг – и я взойду на высоту, может быть на Голгофу, где Мудрость небожителей и истина Богов, где счастье...

Так думал я, ибо со мной была еще моя юность. Месяц этот был, когда она покинула меня за то, что я хотел поверить Мудрости: „Будь верен земле и не доверяйся говорящим о надземных надеждах“.

И я понял.

Размахивая бессильными руками, хотел я лететь, но помните – „Песнь о Соколе“?

„Рожденный ползать, летать не может... Забыв об этом, он пал на землю, но не разбился, а... рассмеялся“.

Так и я, так и я...

И многое теперь мне кажется смешным, а еще больше – грустным. Еще больше – умершим. <...>

Здесь, на Севере, одинокая могила моей юности. И здесь же венок, сплетенный из милых, старых нелепостей!

Как жаль мне своей юности!.. Как плакал я, когда сплетал этот венок из прошлого... И нельзя уже мне вернуться назад, ибо узка и опасна тропинка юности, ибо кругом нее бездна. А кто раз упал и кто ударился о землю, тот верит уже только земле. Нет мне дороги назад! И должен я, как слепец, протягивать свои руки и идти ощупью, чтоб увидеть землю. Боюсь бездны, боюсь и не верю небу... И Вас на пути своем беру теперь за руку и тихо говорю: „Не говори мне больше о небе, дай мне земное, а надземное я уже видел... Когда падал“. <...>

Вот все, чтобы понять меня. <...>

Михаил».

Эти два письма запечатали глубокое преобразование взгляда Зощенко на любовь, его прощание с романтизмом юности и роль Веры Кербиц в происходившей с ним трансформации.

А что касается появившейся у Зощенко возможности эмигрировать сразу после Октября из России во Францию, в Париж, то такая возможность была для него совершенно реальной. В автобиографическом комментарии 1933 года к «Возвращенной молодости» он писал: «Был момент, когда я из Архангельска хотел уехать за границу. Мне было предложено место на ледоколе. Одна влюбленная в меня француженка достала мне во французском посольстве паспорт иностранного подданного. Однако в последний момент я передумал». Он успел уехать из Архангельска в Петроград за несколько дней до занятия города англичанами, которые ответили интервенцией на большевистский переворот и арест Временного правительства.

Об этой истории Зощенко рассказывает и в «Перед восходом солнца» – через десять лет после первого упоминания и, разумеется, уже в другом тоне, соответственно иному времени. Теперь он сразу отвечает французскому полковнику, пригласившему его в посольство для получения иностранного паспорта, что не собирается никуда уезжать и не просил свою знакомую француженку о протекции. Он не слышит никаких вразумлений насчет того, что происходит в стране, насчет пролетарской революции. У него нет сомнений. Он ясно понимает: «Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже».

При всем, казалось бы, различии этих двух трактовок «парижского» эпизода, тут нет главного противоречия. В самом деле, он мог увлечься на миг этой перспективой – Франция, Париж! Великая французская литература с ее прославленными именами! Да только его собственная душа, вся его натура, судьба его были связаны с Россией, с ее языком, с ее жизнью, с ее литературой...

Но как бы ни окрашивалось спустя годы в его воспоминаниях то переломное время, оно было для молодого Зощенко очень трудным, глубоко изменившим его жизнь и его самого. Причем не только и не столько в том, о чем он изящно писал Вере Владимировне. И что лишь намеком, в подтексте присутствовало там. Этот личный разлад, связанный с социальным кризисом, откровенно запечатлелся, очевидно, лишь в его письмах из Архангельска, адресованных матери:

«Архангельск, декабрь 1917 г.

Последнее время болел я, мамочка. Не слишком сильно, нервы да сердце. Да и как не болеть?

Не знаешь, что завтра будет: то ли швейцаром устроиться, то ли грузчиком.

Офицеры-то нынче не в моде, вот и подыскиваешь службу, вот и болеешь.

А недавно еще хорошо было! Думал: вот-то хорошо, что попал на Север. Ни тебя не трогают, ни ты никого не кусаешь. Вовсе провинциальная добродетель!

Ведь и устроился хорошо, город приветливо принял, гимназистки провинциальные смеялись радостно и глазки приятные делали, провинциальные дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, о ком-то намекали, что-то советовали. И всем было весело, весело.

Потом пришли солдаты и погоны сняли. И жалованье отняли. И стали мы самые простые, самые бедные, бедные.

Пальцами на нас показывают: „У-у, буржуй нерезаный!“

И каждый плюет и язык кажет.

И за что бы? „Революций мы не пуцали“, с оружием в руках не выходили... Сидели себе смирно.

...Но что это?

По-прежнему смеялись радостно гимназистки и глазки приятные делали, по-прежнему дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, что-то советовали...

Говорили: „Вот... Теперь нужно жениться...“

Они говорили, они советовали подобно тому, как предлагают невыгодную, но единственную сделку человеку, попавшему в беду.

Иные из нас признали за лучшее и мудро решили жениться.

Но мудрость такая пригодна кроту! Я вижу здесь женщин: многие из них обезьяны со смешными ужимками и обезьяньими ласками.

Все они самки, и все они увешаны отвратительными истинами.

О, как смеялась душа моя над их безобразием! И разум мой сказал: нет.

Ибо я знаю, что придет дорога лучшая, чем эта тропинка слепцов.

Я пока подожду.

И пока я дерзко смеюсь всем в лицо. Всем...

И с тайным страхом спрашиваю себя: „Силен ли ты? Не лучше ли сразу? Ведь помни: чем сильнее борьба, тем больше мучений“.

Да, пока силен. Ибо я опираюсь на свою мудрость. Пока силен, но я не знаю, что дальше. Ведь я с пафосом не говорю себе: „О, я пробью себе дорогу“. Нет. Все случай, все случай.

И если дерзкую улыбку я прогоню с лица и если подойду к той полной даме, что прочила кого-то для меня, то, право, мама, не хвали, а пожалей.

Тогда: „Рожденный ползать летать не может“.

Пока же я силен. Пока я с улыбкой смотрю на вереницу пестрых обезьян.

Вот они... вот, как в жеманном менюэте, они расходятся и сходятся и долго и манерно приседают... У них, сто слов знающих по-французски „людей“, – умение говорить на всех языках и тайно пудрят нос и душатся сиренью.

Вот я в провинции...»

И через три месяца:

«Архангельск, 27 марта 1918 г.

Так хочется домой, мамочка, что все время сижу с упакованными вещами и жду. И сам не знаю чего.

До сих пор нет у меня службы, и с Архангельском я ничем не связан, кроме белья, которое я отдал прачке...

Денег нет, и было бы очень скверно, если б прошлый месяц не выиграл я немного. Но это на исходе. Это давно на исходе.

А впрочем, не деньги, право, не деньги задерживают меня здесь. Я боюсь... Я стал какой-то Обломов. Нет ни энергии, ни воли.

И не я, а судьба тянет меня куда-то. И кажется мне, что пройдет еще месяц – и если я не уеду, не убегу, то останусь здесь навсегда. О, это трагическое болото, этот Архангельск!

А в Петрограде... Живут же люди! Кушают свою восьмушку хлеба, любят, умирают...

Чего же больше? Такова жизнь.

Работу я найду в Петрограде. Конечно.

И должен я уехать отсюда. Обязательно.

Я не узнаю себя за эти полгода. Я так изменился.

Стал даже религиозен. А может, это ханжество? Часто хожу в польский костел и слушаю орган. Молюсь.

Впрочем, когда человеку хорошо, он боится только черта, когда плохо, он говорит: „Господи, господи, верую в тебя и надеюсь на твое милосердие...“

Да, такова жизнь...

Может быть, это и плохо, мамочка, но все же я хочу ехать в Петроград.

А вдруг вы все уехали куда-нибудь?

Нет, вы сообщили бы.

Ну, целую, целую.

Михаил».

Таковы были в те трудные архангельские месяцы кардинальные жизненные перемены, настроение и повседневные житейские обстоятельства молодого Зощенко, сквозь которые он прочувствовал, что «судьба тянет меня куда-то», что он «должен уехать отсюда» и что «хочет ехать в Петроград», где люди «кушают свою восьмушку хлеба, любят, умирают...» В *этот* Петроград, а не в заманчивый Париж.

Сокровенный поводырь

1. Хождение в народ

Таким образом, уехав из Петрограда при Керенском, Зощенко возвращается сюда при большевиках. И вместо Парижа он оказывается на низеньком табурете в петроградском подвале с чьим-то потрепанным сапогом на коленях и рашпилем в руках, подравнивая только что прибитую подметку. Этот момент описывается в «Перед восходом солнца»: «Я – сапожник. Мне нравится моя работа. Я презираю интеллигентский труд – это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра. Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть». Вполне по-интеллигентски и по-русски...

Итак, дворянин и боевой офицер, Зощенко принял большевистский Октябрь. Отринув предложение эмигрировать и вообще все свое прежнее бытие, он за последующие три года неоднократно менял свои занятия и места пребывания, что нашло подробное отражение и в повести «Перед восходом солнца», и в целом ряде автобиографических статей и материалов. Вот отрывок из его заключительного комментария к повести «Возвращенная молодость», где говорится об этом периоде скитаний – после того, как он в марте 1918 года вернулся из Архангельска в Петроград:

«В июле 1918 года я поступил в пограничную охрану. Сначала служил в Стрельне, потом в Кронштадте.

Из пограничной охраны перевелся добровольцем в Красную армию и в ноябре 1918 года отправился в действующую армию на Нарвский фронт.

В Красной армии я был командиром пулеметной команды и потом полковым адъютантом.

Я не коммунист и в Красную армию пошел сражаться против дворянства и помещиков – против среды, которую я в достаточной мере хорошо знал.

Я пробыл на фронте полгода и по болезни сердца (порок, полученный после отравления газами в германскую войну) уволился из армии.

После этого я переменял десять или двенадцать профессий, прежде чем добрался до своей теперешней профессии.

Я был агентом Уголовного розыска (в Ленинграде).

Был инструктором по кролиководству и куроводству (в Смоленской губернии, город Красный, совхоз Маньково).

Был старшим милиционером в Лигово.

Изучил два ремесла – сапожное и столярное. И даже работал в сапожной мастерской на Васильевском острове (на 2-й линии, против Академии художеств). <...>

Последняя моя профессия до писательства – конторское занятие. Я был конторщиком и потом помощником бухгалтера в Петроградском военном порту».

Это писалось в 1933 году, и указанная здесь очередность испробования им специальностей и мест его работы несколько отличается от той, что позднее была дана в «Перед восходом солнца». Но, что самое главное, в своей автобиографической повести он категорически утверждает, что была одна-единственная причина всех географических перемещений, социальных и профессиональных перемен, которые происходили с ним в те годы. Эту причину своих жизненных скитаний Зощенко видел только в своей болезни – в хандре, тоске, меланхолии, ипохондрии... Конечно, это утверждение сочеталось с замыслом повести – рассказом о поисках истока болезни и о самоизлечении от нее (о чем обстоятельный разговор впереди). Известно,

однако, что поворотные решения человека вызываются, как правило, совокупностью причин, в том числе подспудных.

Стремление к психологическому перелому в самом себе соединялось у Зощенко с полной социальной переориентировкой. Это не было расчетливым приспособительством к новым условиям, классовой мимикрией во имя самосохранения, хотя не учитывать действительность также было нельзя. Столь резкая смена социальных вех была естественным продолжением органичного для него демократизма (вспомним его отношение к солдатам на фронте) и осуществлением, как ему мнилось, высоких идеалов общечеловеческой справедливости – Свободы, Равенства, Братства, – воспринятых его душой с детства. В большевиках он увидел решимость воплотить эти идеалы в действительность...

И, очевидно, то было требуемое движение к раскрытию его таланта. Будто некий вышний поводырь, удержав его сперва от эмиграции, провел затем по тому жизненному кругу в России, неизвестному ему ранее, в котором он должен был встретить своих будущих героев. И когда он в «Перед восходом солнца», перечислив географические места, где побывал, и профессии, коими тогда занимался, заканчивает весь этот перечень бесстрастной, как бы в общем списке, констатацией, что в 1921 году стал писать рассказы, естественно и закономерно сделать вывод, что произошло это его писательское раскрытие в *результате трехлетнего хождения в народ*. Ведь талант образует и правит судьбу своего обладателя, и ведет его по заветному пути с помощью самых разных побудителей, даже меланхолии, как в случае с Зощенко.

Еще одним побудителем к «перемене мест» был голод в тогдашнем Петрограде. И осенью 1918 года Зощенко едет в Смоленскую губернию, где в городе Красном, в бывшей помещичьей усадьбе «Маньково», ставшей совхозом, жила его старшая сестра Елена (Леля). Там он недолго работал на птицеводческой ферме, «прилично сдав экзамены на звание птицевода», как сказал об этом в «Перед восходом солнца». И не без иронии добавил: «Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь». Таким же способом, должно быть, он стал в «Маньково» и инструктором по кролиководству. А потом – была Красная армия, Нарвский фронт...

Разумеется, в этот трехлетний период им велись и попутные литературные поиски. Прежде всего, он очень много читает. Зимой 1918 года увлекается Ницше и Пшибышевским, а по возвращении из Архангельска даже пишет «Философские раздумья», которые имели у него и второе название – «Боги позволяют» и в которых совершенно очевидно сильное воздействие Ницше на его размышления о человеке. И позднее, через два года, в марте 1920 года, Вера Владимировна получает от него письмо, в котором говорилось: «...посылаю тебе две любимейшие мои книги – конечно, Блок и, конечно, Ницше». Речь шла о сочинении Ницше «Так говорил Заратустра».

В это же время, в 1918 году, Зощенко впервые пробует печататься. Поначалу решает опубликовать кое-что из опытов любовной тематики. В. В. Зощенко приводит в своей статье его письмо к «Принцессе Грезе» – сотруднице «Журнала для женщин»: «У меня есть несколько милых нелепостей, несколько печальных „cartes postales“ и несколько писем, не посланных женщинам, ибо часто они не были достойны. Я пришлю их Вам, если Вы позволите, Принцесса? Мой друг сказал, что это подойдет к журналу вашему...» По неназванным причинам публикация не состоялась. Не состоялась и вторая попытка, хотя написанные им после работы в совхозе «Маньково» два рассказа были уже совершенно иного толка. Об одном – «Чудесная дерзость» – Вера Владимировна сообщает, что в нем Зощенко «выразил презрение к „бесславному“ премьеру Керенскому и невольное восхищение „чудесной дерзостью большевиков“». Однако в «Красную газету» Зощенко представил второй рассказ. В «Перед восходом солнца» дается эпизод, названный «Сыр бри» – об этой его попытке:

«Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена „Красная газета“.

В газете „Почтовый ящик“. Там ответы авторам.

Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.

Я написал этот рассказик не для того, чтобы заработать. Я – телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так: мне казалось это нужным – написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом – М. М. Чирков.

Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю „Почтовый ящик“.

Вижу: „М. М. Чиркову. – Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри“.

Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?

Начинаю вспоминать то, что я написал.

Нет, как будто правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой... Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?... Старой России нет... Передо мной – новый мир, новые люди, новая речь...»

Естественно, он тотчас решает, что никогда более не «склонится к интеллигентскому труду». Но полученный хлесткий щелчок, этот «сыр бри», вызывает в нем нужную внутреннюю работу, плодотворное осознание того, что перед ним – «новый мир, новые люди, новая речь». Он на собственном опыте понял, как не надо писать. И это обретенное понимание направляет его не к отступлению, а к упорному поиску своего пути в литературе. Более того, в этот момент он окончательно утверждает в своей главной жизненной цели, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях и В. В. Зощенко:

«В декабре восемнадцатого года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта, из Красной Армии. В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках...

Я сидела перед топящейся печкой – в крошечной моей „гостиной“ на Зеленой улице, дом 9.

Он стоял, прислонившись к печке.

Я спросила его:

– Что же для вас самое главное в жизни?

И была уверена, что услышу: „Конечно же, вы!“

Но он сказал очень серьезно и убежденно:

– Конечно же, моя литература...

И это была правда. Правда всей его жизни, потому что не было у него ничего „главнее“ его литературы, которой он отдал всего себя без остатка».

Здесь точно зафиксирована свойственная уже вполне сложившемуся, как характер, Зощенко линия его жизненного (и житейского) поведения.

И еще одно уяснение произошло тогда же, судя по его последующим шагам: коли заниматься литературой всерьез, профессионально, надобно войти с нею в непосредственный контакт, а не через газетный «почтовый ящик».

2.

«Литинститут»

Так, наряду с освоением простонародного круга жизни ему потребовалось еще вхождение в круг литературный, освоение изнутри шедших там процессов, что тоже заняло около трех лет (причем оба «хождения» шли частью параллельно).

Эти уже совершенно целенаправленные литературные поиски начались вслед за полугодичным пребыванием его на фронте гражданской войны под Нарвой и Ямбургом в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты, где он был командиром пулеметной команды, потом полковым адъютантом, и откуда снова попал в госпиталь по болезни сердца.

А летом 1919 года агент уголовного розыска Зощенко, ведомый своим сокровенным поводом, появился в только что открывшейся Студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого мас-

штабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И Студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков – таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения.

Расположилась Студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние – «мирные» – годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как «белоэмигрант», был вычеркнут (вместе со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус) на семьдесят советских лет из отечественной культуры. И в этом доме, уже в шестидесятые годы, до суда над ним и ссылки, проживал будущий Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге (вернувшем себе исконное название в начале 90-х годов), получил свою литературную судьбу.

Подобно другим студийцам «с улицы», Зощенко пришел в этот дом по объявлению (тогда вообще открывалось много всевозможных студий – театральных, цирковых, рисовальных, вышивальных, и повсюду были расклеены объявления). Народ в Студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда – пятнадцатилетний школьник Владимир Познер, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески; и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на пяти языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя – все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и Студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик.

Один из организаторов Студии К. И. Чуковский так написал о них в своих воспоминаниях:

«...их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, „испанка“ и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли – кто в боях с Колчаком, кто – на койках заразных барачных. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы несмотря ни на что, в таком мучительно-тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу».

Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями Студии, ведущими постоянные семинары. В этих стенах, писал К. И. Чуковский, «бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики; ...таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев; ...чудесные плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова хитроумный Евгений Замятин...» И еще: «Студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилевцы, замятинцы». В этот перечень надо добавить и «чуковистов»...

Можно сказать, что судьба, круто проварив Зощенко в котле жизни, теперь со всю тщательностью позаботилась поместить его в благодатный литературный питомник и создала самые удачные условия для быстрого писательского созревания. Вплоть до организационных

деталей: даже лекции читались по вечерам, чтобы учебу, без помех, было возможно совмещать с постоянной работой.

Торжественное открытие Студии – вытертые насухо после недавнего потопа полы, очищенные от похабщины стены, топящийся камин – в брошенной квартире, загаженной последними обитателями-беспризорниками, состоялось, как сообщает Чуковский, в июне девятнадцатого года. А уже в сентябре Студия в доме Мурузи прекратила свое существование. Но эти всего-навсего три месяца преобразились для Зощенко – с продуктивностью творящего взрыва – в целый этап практического литературного формирования. По интенсивности освоения знаний и творческих поисков эти три месяца стали, в сущности, его «литинститутом» или, по крайней мере, основополагающей частью нужной ему академической подготовки.

Держался он в студии отъединенно, замкнуто. «Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, – вспоминает К. Чуковский, – сидел он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громкокипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Мурузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зощенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне».

Безучастность его была, конечно, внешней, прикрывала стремление разобраться во всем том литературном кипении самостоятельно и ограждала его независимость, достоинство. Он вообще чуждался бесцеремонности, панибратства. Обусловили дистанцирование и жизненные испытания, каких не доводилось переживать «литературным мальчикам» Студии.

Первый же реферат Зощенко, написанный по заданию Чуковского о поэзии Блока, оказался сюрпризом для всего семинара. Перед Зощенко на ту же тему прочитала свой вполне традиционный реферат одна студистка – поэтесса Елизавета Полонская, которая в своих воспоминаниях описала то достопримечательное занятие:

«Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение.

– Другой стиль, – заявил он.

Чуковский взял у него тетрадку:

– Давайте я прочту.

Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям „Крокодил“ и „Тараканище“. Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно „по стилю“.

Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал:

– Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения.

Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман...»

«Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей, – говорит К. И. Чуковский в своей большой мемуарной работе о Зощенко (из серии интереснейших очерков „Современники“). – Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным языком заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души. Именно тогда, в тот летний вечер девятнадцатого года, мы в Студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному, – силой заразительного смеха».

Задатки этой «чудодейственной силы» передались Зощенко, как видно, также по наследству – от отца-художника, помещавшего в иллюстрированной «Ниве», наиболее популярном

в дореволюционной России журнальном издании, комические рисунки-картинки из жизни украинских крестьян. Здесь обнаруживает себя исток и юмора, и народности в писательском таланте Зощенко-сына.

За блоковским рефератом последовали уже непосредственные пародии – на Чуковского, Замятина, Шкловского. По глубине содержания они не уступали статьям профессиональных критиков, а сарказм автора с поразительной меткостью демонстрировал уязвимость пародируемых мэтров. Выявилось, что Зощенко обладает абсолютным слухом к слову, стилю, интонации.

К. И. Чуковский вспоминал:

«Еще резче выразилось его строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине через две или три недели, когда я задал студистам очередную работу – написать небольшую статейку о поэзии Надсона.

Через несколько дней я получил около десятка статей. Принес свою работу и Зощенко – на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги.

Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой:

– Только это совсем не о Надсоне...

– О ком же?

Он помолчал.

– О вас.

Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей Студии. Чужим темам предпочитал он свои, предугазанному стилю – свой собственный.

Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку „От Чехова до наших дней“. С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя.

Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай: что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал.

Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость, тем более что к тому времени я уже успел отойти от своего первоначального стиля, над которым издевался пародист.

<...> Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне о том. Иначе, конечно, и быть не могло: без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов».

Справедливо отметить на этом примере благородство, педагогический талант и подлинную заботу о Литературе самого К. И. Чуковского.

3. Новый взгляд

Писал Зощенко в тот период и серьезные критические статьи. Даже на какой-то момент считал, что именно литературная критика есть его подлинная стезя, столь увлекли его занятия на отделении Чуковского. Но главное все же было в стремлении наилучшим образом подготовить себя к работе писателя. Он задумал и распланировал целую книгу – «На переломе» – обзор литературы 1910–1920-х годов, состоящий из большого цикла статей по разделам: «Реставрация дворянской литературы», «Кризис индивидуализма», «На переломе», «Ложно-пролетарская литература», «Литературные фармацевты», «Нигилисты и порнографы». В поле его зрения находились прозаики и поэты – Лаппо-Данилевская, Софья Фонвизин, Зайцев, Гиппиус, Вера Инбер, Северянин, Вертинский, Блок, Маяковский, Арцыбашев, Вербицкая, А. Каменский... Со всею этой литературой Зощенко был знаком до Студии, но здесь его познания стали целенаправленно рассматриваться им применительно к своей будущей практической деятельности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.